

Нилин Александр

1994 - 2. февраль - с. 8

Моя панорама



ДЛЯ меня Ордынка — не улица, а квартира. Ардовская квартира, где каждую из четырех разноформатных комнат без колебаний уподоблю театральным подмосткам.

Жизнь, представленная в развернувшемся на них спектакле продолжается...

Однако сам спектакль давно закончен — в чем нет у меня сомнений.

И какой, казалось бы, резон оболящать затаившимся аплодисментам вслед ушедшим — тянуть теперь на себя сомкнувшийся занавес с прорвавшейся, наконец, гордостью статиста, отчаявшегося от собственной безвестности и рискнувшего привлечь к себе внимание, самонадеянно копируя знаменитостей, исполнявших главные роли?

Но суть Ордынки в том, что каждому, кто попал сюда, — вне зависимости от личных достоинств и возможных заслуг — давался завидный шанс преувеличить свою роль и жить на этой неподвластной скучному подсчету полезных метров трагикомической жилплощади своею жизнью — как бы одновременно и внутри, и помимо той, что привлекает зашоренных исследователей.

Ордынка была театром для себя — не для истории. И не в этом ли как раз ее величие?

Наступила пора, когда симпровизированную всеми нами — талантами и поклонниками — пьесу тщетно пытаются воспроизвести мемуаристы, загипнотизированные громкими именами и не подозревающие, что ордынский спектакль ставился всегда в расчете и на тех, кто на роли исторических персонажей в тот момент никак не мог претендовать. Что с необъяснимой непреклонностью многие мизансцены, реплики и даже сюжетные повороты были выстроены для них, ими бывали спровоцированы, не без их ведома или даже участия совершенны...

и для любовных сцен в жизни почти никогда нет соответствующих условий.

Я благодарен судьбе, что именно в доме юмориста Виктора Ардова видел женщин, любовь к которым расширила возможности лирической поэзии двадцатого века: Веронику Витольдовну Полонскую, Марию Сергеевну Петровых да и саму Нину Антонову Ольшевскую — супругу Ардова. Обожаемым Мандельштамом, Маяковским, Светловым женщинам никто не бросал под ноги паратовских шуб на холмистый гололед неосвященного ордынского двора. Но

Александр НИЛИН

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА

То, что в доме на Ордынке никогда не собирались всей семьей — и только, а всегда кто-то из посторонних ел в неурочное время, кто-то гостевал, ночевал и вообще жил, мог зайти без предупреждения и засидеться за полночь, воспринималось, как аншлаг в театре. И я бы не ардовским гостеприимством это назвал, а негасимым и неповторимо естественным артистизмом все двадцать четыре часа в сутки.

Кружение ордынской сцены разворачивало великих или прославившихся той неожиданной стороной, вглядевшись в которую ты открывал нечто первостепенно важное не в них одних, а скорее даже в себе самом.

И не вижу катастрофы в том, что открывшееся мне тогда превратилось в знание или окончательно сложившуюся мысль много позднее — разговор с ушедшими длится, я не верю ни в чье исчезновение, и в сегодняшней судьбе моей влияние всех вызванных историй на Ордынку персонажей ощущаю отчетливее, чем когда-либо...

Без странности ордынского контекста ничего не понять в характере тогдашних отношений всех собравшихся в квартире — очень многие из шуток, высказываний, убийственных афоризмов, вошедших в обиход и взятых на вооружение теми, кто обустраивает нынешний мир искусств, на мой взгляд, вянут, вынесенные за скобки (за стены ардовской квартиры).

Один из Нобелевских лауреатов, бывавших на Ордынке, вспомнил, что нигде и никогда не смеялся он столь весело и безудержно, как в доме у Ардовых.

Он — не единственный, кто настаивает на веселии Ордынки. Но боюсь, что слишком многие восхищаются остроумием, остроумием, забывая про чувство...

А чувство юмора от прочих главных чувств неотделимо — и вместе с ними возвышает нас до соизмеримого с поэзией страдания, вызываемого согласием или несогласием с предназначенной тебе судьбой.

...В отсутствие взрослых Ардовых мы, разнуздавшиеся дети (два сына Виктора Ефимовича и я — все трое в ту пору студенты), сидим за утренней водкой, вдохновленные и безнаказанностью, и неотвратимой уверенностью, что впереди целая жизнь и мы в ней скоро проявим себя впечатляюще и неповторимо.

Анна Андреевна возникает в дверях столовой, визуальнo рифмуясь со своим изображением над дверью в кабинет Ардова — портретом, принадлежащим юношеской кисти третьего, старшего, единоутробного брата моих собутыльников, знаменитого киногероя Алексея Баталова.

Анна Андреевна несколько удивлена нашим ранним винокушеством. И я спешу оправдаться, ссылаясь на простуду. Ахматова предлагает мне средство от насморка не менее радикальное: нагреть носовой платок на батарее парового отопления и нагретый платок плотно прижать к переносице. Я зачем-то интересуюсь: чем объясним вероятный целительный эффект? Незамедлительный ахматовский ответ смешит всех в моем пересказе более трех десятилетий. «Я не доктор, Саша, — величественно-виолончельным тоном говорит она, — я лирический поэт...»

Смешно... Но почему же за эти тридцать лет Господь не дал мне таланту — выразить то рентгеновское проникновение в мое сердце ее интонации, в которой обреченная гордость складывалась из иронии и печали в равной мере.

Истинная лирика всегда неприкаянна —

я, может быть, потому и готов поверить в существование любви, что эти прекрасные дамы были рождены не для купеческих ласк и подарков...

КРАТКИЙ экскурс в лирическую хронику завершу воспоминанием о романтической влюбленности самого хозяина квартиры в дочку своего ровесника-тенора. «Я ее так люблю, Сашка, — сказал шестидесятипятилетний Ардов с изумившей меня откровенностью, — что все мои занятия сейчас такой ерундой кажутся...». Изумила, повторяю, лишь откровенность, а не случившееся. Большой театр, где пел Ленского папа возлюбленной известного всей Москве остролова, не имел в моих глазах преимуществ перед Большой Ордынкой.

Меня занимает категория людей, прошедших ордынскую школу с прилежанием, пожалуй, большим, чем у завсегдатаев, но не задержавшихся ни в столовой, ни в детской. По мере преуспевания они удалялись, отдалялись — и, появившись вновь на каком-нибудь из ардовских праздников, сидели на краешке стула, не отчуждаясь, вроде бы, однако уже и не пытались попасть в общий тон...

Когда-то я думал, что в подобной эмиграции есть рациональное начало: богемная беспредельность атрофирует нужные для борьбы мышцы. Но сейчас в эмигрировавших фаворитах я вижу инстинкт иного самосохранения. Существует в театральном быту выражение: пройти на труп. Артист, покоровший многотысячную толпу, не испытывает всей полноты признания, пока у коллег он не в чести. И если уж Баталов говорил, что никогда не станет сравнивать свою славу с величием Ахматовой, то о чем могли мечтать люди менее одаренные, но гораздо более тщеславные?

Тонкий толкователь жизни и поэзии Ахматовой, описывая Ордынку, заметил среди тамошних персонажей и меня, назвав «ближайшим другом мальчиков Ардовых». Перефразируя Пастернака, скажу, что согласен играть эту роль и дальше, до конца жизни — «другая драма» вряд ли предоставит мне роль интереснее.

Я пришел в детскую к Боре и Мише (по иному я не буду называть в этой жизни священника Михаила Ардова) студентом театрального института, но нашел себя, как мне кажется, на ардовских подмостках. И в той квартире, где живу сейчас, возле метро «Аэропорт», выстроил невидимую другим декорацию Ордынки — и лишь в ней я иногда чувствую себя таким, каким хотелось бы мне стать...

Мы с Борей оказались заложниками дружбы в том детском, беззащитном, перспективном ее толковании, когда ставишь друг перед другом неимоверные требования. И, вероятно, нам уже не оправдать возложенные друг на друга надежды. Впрочем, как знать...

Миша в какой-то момент жизни, определяя дальнейшую свою судьбу, отдалился от Ордынки, жадно впитал в себя опыт иной жизни, опыт людей иного склада. Он обособился, охраняя свой душевный суверенитет, самостоятельность суждений, распорядок внутренней жизни, разрешающий не спешить к обязательному литературному признанию.

В минуту слабости, когда успех обходит тебя стороной, мучаешь себя вопросом: на что ушла жизнь?

Не на то ли, чтобы не измениться?

Точнее: не изменить заложенному в нас всем тем, что понимаем мы бесконечной Ордынкой...